



**Вяч. И. ИВАНОВ**

**Жемчуга Н. Гумилева**

Подражатель не нужен мастеру; но его радует ученик. Независимого таланта требует от ученика большой мастер, и на такой талант налагает послушание: в свободном послушании мужает сила. Н. Гумилев не напрасно называет Валерия Брюсова своим учителем: он — ученик, какого мастер не признать не может; и он — еще ученик.

Он восхищается приемами наставника и его позой; стремится воспроизвести выпуклый чекан его речи, его величавый лирический и лироэпический строй, перенимает его пафос и темы; порой полусознательно передумывает его любимые думы.

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка...<sup>1</sup>

Так усиливает он за учителем фигурую повторения ритмическую энергию хореев.

Когда Тимур в унылой злобе  
Народы бросил к их мете,  
Тебя несли в пустынях Гоби  
На боевом его щите...<sup>2</sup>

Так строит он, следуя манерам учителя, свои замкнутые строфы, надменные станцы, и не изменяет приподнятой монотонии плавных ритмических периодов на протяжении почти всей книги «Жемчугов», даже в тех случаях, когда ирония или ласковость замысла соблазняют к улыбке и игре, когда сам мастер подает пример улегченной напевности, менее сдержанного движения, более живого и простодушного тона.

Я спал, и смысла пена белая  
Меня с родного корабля...<sup>3</sup>

Так вспоминается ему Ариадна учителя:

Ты спишь, от долгих ласк усталая,  
Отдавшись дрожи корабля.

Это — «Одиночество»: одна из любимых тем Брюсова. Далее — ряд других брюсовских тем: перевоплощение любовной четы, заполнившей великолепную *mise-en-scene* \* своей первоначальной трагической страсти; воспоминания о героическом товариществе; магия книг и книги магов; Адам и Ева; Улисс, Агамемноны, Семирамиды, Варвары — и так много других встреч в садах мечты, дружной с географией и историей, — в декоративных и таинственных областях, «луной мучительной томимых», с мандрагорами первой эпохи мастера и базальтами его зрелой поры<sup>4</sup>. Одним словом, весь экзотический романтизм молодого учителя расцветает в видениях юного ученика, порой преувеличенный до бутафории и еще подчеркнутый шумихой экзотических имен. И только острота надменных искусов жизни реальной, жадное вглядывание в загадку обставившего личность бытия и в лик бытия нарастающего, упорное пытанье смысла явлений, ревниво затаивших свою безмолвную душу, блаженство и пытка еще не остывших, только что выстрадавших «мигов», гнев живого на живых и страстные отклики испытателя судеб и воля на судьбы народа и города, земли и ближайшего своего соседа по одиночной камере воплощенной жизни, наконец-то запечатленное опытом и в душе установившееся чувство, что поэт подлинно несет какую-то «весть» и что он — один из «мудрецов», т. е. воистину что-то познавших, и потому «хранителей тайны и веры», — все это, что в изобилии есть у Брюсова и его определяет как ставшего и совершившегося, при всей незавершенности его окончательного лика и поэтического подвига, — еще не сказалось, не осуществилось в творчестве Н. Гумилева, но лишь намечается в возможностях и намеках. И поскольку наметилось — обещает быть существенно иным, чем у того, кто был его наставником в каноне формальном и Вергилием его романтических грез, кто учил его рядить Сказку в Армидин панцирь из литого серебра и переплавлять брызги золотых Пактонов восторга в тяжелые кубки с изощренной резьбой во вкусе элегантной пластики Парнаса<sup>5</sup>.

Довольно прочесть, например, превосходное «Путешествие в Китай» или бесподобную идиллию «Карabas», чтобы увидеть, что Н. Гумилев подчас хмелеет мечтой веселее и беспечнее, чем Брюсов, трезвый в самом упоении — ибо никогда не утоленный — и в самом аффекте исступления сознательно решающийся и дерзающий — ибо непрестанно испытующий мыслью и волей судьбу и Бога. Довольно прочесть другую, менее совершенную, но пле-

\* мизансцену (фр.).

нительную по грезе и наивно проявившемуся тайному символизму поэму «Раджа»<sup>6</sup>, — чтобы убедиться, что золотые полудетские сны оптимистически окрашивают мир в глазах затаенно надеющихся на реальность самой волшебной сказки искателя «Жемчугов черных, серых и розовых», каждое дыхание которого молится солнцу, — в противоположность омраченному гению того, кто в мятежной гордости, в «унылой злобе» однажды воскликнул:

Но последний царь вселенной —  
Сумрак, сумрак за меня!..<sup>7</sup>

Еще Гумилев-поэт похож на принца своей — впрочем, давно уже им написанной — «Неоромантической сказки», отправляющегося из своей «Залы Гордых Восклицаний» (как забавно точно!) в химерические пустыни «Страдания» на охоту за людоедами, которых легко пленяет при помощи зелий и наговоров какого-то домашнего духа, замкового дворецкого; после чего людоед, притащенный на аркане, заключается в башню и вскоре оказывается ручным:

Говорят, он стал добрее,  
Проходящим строит глазки  
И о том, как пляшут феи  
Сочиняет детям сказки.

Здесь уже самоосознание, и притом ироническое: конквистадор «изысканных» Голконд трансцендентальной Географии и миражных «маркизатов», коих наследственные грамоты скреплены подписью и печатью Ученого Кота, — того, что увеселяет сказками и выводит в люди мальчика Карабаса, — в такой мере смешивает мечту и жизнь, что совершенное им одинокое путешествие за парой леопардовых шкур в Африку немногим отличается от задуманного — в Китай — в сообществе с мэтром Раблэ, а встреча с Летучим Голландцем из поэмы «Капитаны» удивила бы его (если бы не застала врасплох в упадке обычного мечтательства), быть может, не более, чем живописное общество портовой таверны из той же, милой своим восторгом простора, поэмы.

Это — период, когда художник играет на «волшебной скрипке» и внушает себе мысль, что лишь упадет смычок из усталой руки, как накинутся на него выжидающие перерыва мелодии голодные волки. Но скрипач, влюбленный в свою скрипку, играет, не уставая; неустанный бродяга — не паломником, по обету, а простым охотником из любви к бродяжничеству — пробирается по дебрям и зарослям, выслеживая пестрых зверей «Ада-

мова Сна» и меж делом и грезой посматривая по сторонам, не сверкнет ли из чащи волшебный папоротник, или же и в самом деле прав глупый «попугай с Антильских островов», который, насмотревшись на злых сов «в квадратной келье мага» пришел к философскому заключению, что «тайна — некрасива?..»<sup>8</sup>

Порою, как смутный призыв, поэту снится Реальность истинная — *res intima rerum* \* — в далеких, далеких странах — быть может, на озере Чад, где так «много чудесного видит земля», пахнущая «немыслимыми травами», когда на закате дивный жираф прячется в свой мраморный грот, — странах, где, быть может, небо и вправду с землею сходится, — куда залететь стоит даже под заманчивой угрозой разделить участь того «Орла», что окаменел, перелетев за грань, в великолепной логике междупланетного эфира. Но дилемма сознания остается в прежней силе: кто прав — романтик Орел или эстет Попугай?.. И, конечно, еще не знает в этот период поэт, что ни по морским тропам, ни по воздушным стезям не достигнешь лестницы Иакова, подножье которой упирается в самое глубокое подземелье самого близкого к нам лабиринта<sup>9</sup>.

В ожидании чудес реального мира, Н. Гумилев ладью за ладьей, «трирему» за «триремой» снастит и снаряжает для своих завоевательных плаваний и, совершив набег на новый остров, возвращается с отборной добычей. Чего, чего не собрал он в кладовой своих парнасских «трофеев»!.. Книга содержит и раньше (Париж, 1908) появившиеся «Романтические цветы», где есть такое значительное стихотворение, как рассказ о восточном корабле, привозящем в Каир заразу. И замечательно, что в этих «Цветках» влияние Брюсова менее, быть может, ощутительно, чем в более поздних и зрелых произведениях, где ученик опять и со всею энергией обращается к изучению творения учителя, как бы мечтая соревноваться с ним в блеске неустанно совершенствуемой формы, постепенно очищаемой от погрешностей языка и ошибок вкуса.

Поистине из стольких схваток и приключений вышел с честью юный оруженосец, которого рыцарь посылал на ответственные и самостоятельные предприятия, что кажется заслужившим принять от него ритуальный удар мечом по плечу, обязывающий к началу нового и уже независимого служения.

Романтически-мечтательный период ученичества Н. Гумилева характеризуется решительным преобладанием в его поэзии эпического элемента над лирическим. Это естественно: где ему и

\* самое сокровенное из вещей, тайна мира (*лат.*) (*ред.*).

найти собственное переживание, если оно растворяется в сновидении, если фея снова начинает прясть из кудели душевного опыта лунные нити, а другая фея — фея-Сказка — ткать из нитей узорную ткань вымысла?

Отсюда — стесненность поэтического диапазона и граничащая подчас с наивным непониманием неотзывчивость нашего автора на все, что лежит вне пределов его грезы, — его несходство с поэтом — эхо, нормой поэта по правому идеалу Пушкина<sup>10</sup>. Неотзывчивость — и охорашивающаяся, обдуманно-позирующая, торжественно-замедленная, напыщенно-ватная однозвучность, отсутствие быстроты, непосредственности, живой подвижности, живой реакции на многообразие живой жизни... Между тем в лирической энергии недостатка нет: она движет и волнует каждую строфу, под каждым образом бьется живое сердце.

Прогноза вытекает из вышесказанного: когда действительный, страданьем и любовью купленный опыт души разорвет завесы, еще обволакивающие перед взором поэта сущую реальность мира, тогда разделятся в нем «суша и вода», тогда его лирический эпос станет объективным эпосом, и чистою лирикой — его скрытый лиризм, — тогда впервые будет он принадлежать жизни...

